Часы

Автор:
Майкл Каннингем

Часы

Майкл Каннингем

“Часы” – самое известное сочинение Каннингема, признанное лучшим американским романом 1999 года и удостоенное Пулитцеровской премии и награды ПЕН / Фолкнер. Как устроено время? Как рождаются книги? Как сцеплены между собой авторские слова-сны? Как влияют события (разнесенные во времени и пространстве) на слова, а слова – на события? Судьба Вирджинии Вулф и ее “Миссис Дэллоуэй”. Англия 20-х и Америка 90-х. Патриархальный Ричмонд, послевоенный Лос-Анджелес и сверхсовременный Нью-Йорк. Любовь, смерть, творчество. Обо всем этом и о многом другом в романе Майкла Каннингема “Часы”.

Майкл Каннингем

Часы

© 1998 by Michael Cunningham. All rights reserved

© Д. Веденяпин, перевод на русский язык, 2000

© А. Бондаренко, оформление, 2019

© ООО “Издательство АСТ”, 2019

* * *

Посвящается Кену Корбетту

А теперь мы будем охотиться на третьего тигра, который, как и прочие, всего лишь один из образов моего сна, словесная структура, а не тигр из плоти и крови, бродящий – вне всяких мифов – по нашей земле. Я не питаю на сей счет особых иллюзий, и, однако, какая-то сила толкает меня в эту странную, безрассудную, древнюю погоню, заставляя часами преследовать другого тигра, зверя, не найденного в стихах.

Х.-Л. Борхес.

Другой тигр. 1960

У меня нет времени расписывать свои планы. Мне следовало бы много чего сказать о “Часах” и о моем открытии; о том, как я проделываю красивые подземные лазы вслед за своими персонажами. В результате, как мне кажется, возникает именно то, что я ищу: человечность, юмор, глубина. Согласно моему замыслу, каждый лаз связан с остальными, и в данный момент все они выходят на свет.

Вирджиния Вулф.

Из дневника. 30 августа 1923

Пролог

Она почти бежит. В зимнем тяжелом пальто не по погоде. 1941 год. Началась новая война. Она оставила дома записки: одну Леонарду, другую Ванессе. Она спешит к реке, твердо зная, что сделает то, что задумала, но все равно невольно заглядывается на холмы, церковь, отару ослепительных, чуть отдающих в желтизну овец, щиплющих траву под темнеющими небесами. Она останавливается, смотрит на овец, потом на небо, идет дальше. Голоса

не умолкают, в облаках гудят невидимые бомбардировщики. Она проходит мимо одного из работников (кажется, его зовут Джон?), крупного парня с маленькой головой, одетого в фуфайку картофельного цвета. Он чистит канаву в саженом тальнике. Парень разгибается, поднимает на нее глаза, кивает и вновь склоняется к ржавой воде. Минуя его на пути к реке, она думает, как ему повезло в жизни, какая это, в сущности, удача: чистить канаву в тальнике. А вот она потерпела крах. На самом деле никакая она не писательница – просто эксцентричная фантазерка. Лоскуты неба светятся в лужах, оставшихся после ночного дождя. Ее туфли слегка вязнут в размокшей глине. Она потерпела крах, и голоса вернулись, бормочут какую-то невнятицу прямо у нее за спиной, вот здесь, она быстро оборачивается, нет, никого. Голоса вернулись, головная боль приближается так же неумолимо, как дождь, и скоро уничтожит ее, сокрушит то, что так или иначе есть она, полностью вытеснит ее собой. Головная боль приближается, и кажется (уж не она ли сама привораживает их?), что в небе опять гудят самолеты. Она перелезает через каменное заграждение и спускается к реке. Вдали маячит одинокий рыболов, который не заметит ее, так ведь? Теперь нужно найти подходящий камень. Она действует быстро, но методично, словно следуя инструкции, обещающей успех лишь в случае неукоснительного выполнения. Она выбирает камень, размером и формой напоминающий череп поросенка, поднимает его и запихивает в карман пальто (меховой воротник щекочет шею), непроизвольно отмечая его прохладную известковость и белесовато-коричневый тон с зеленоватыми крапинами. Она смотрит на воду – прозрачную, заполняющую неровности берега, и на другую – между берегами, желтовато-бурую в пестрых пятнах, гладкую и твердую, как дорога. Не снимая туфель, она делает несколько шагов вперед. Вода холодная, но терпеть можно. Зайдя по колено, она останавливается. Она думает о Леонарде. Вспоминает его руки и бороду, глубокие складки у губ. Она думает о Ванессе, о детях, о Вите и Этели: их так много. Все они потерпели поражение, не правда ли? Вдруг ей становится безумно жалко их всех. Может быть, развернуться, выбросить камень, возвратиться домой? Не исключено, что она даже успела бы еще уничтожить записки. Она могла бы жить дальше, могла бы оказать им эту последнюю милость. Стоя по колено в бегущей воде, она решает ничего не менять. Голоса звучат не умолкая, головная боль совсем близко, и, если она отступит сейчас, вновь вверив себя заботам Леонарда и Ванессы, они никогда уже ее не отпустят, так ведь? Нет, решает она, свобода дороже. Неловко (дно вязкое) она продвигается вперед, пока не входит в воду по пояс. Бросает взгляд в сторону рыболова в красной куртке. Он ее не замечает. В желтой воде (когда стоишь так близко, видно, что вода не бурая, а именно желтая) отражается низкое небо. Вот то, что фиксирует на прощанье земное зрение: рыболов в красной куртке и пасмурное небо в матовом зеркале воды.

Почти нечаянно (так ей кажется) она не то шагает, не то просто спотыкается, и камень утягивает ее вниз. На миг верится, что это еще не конец, просто очередная неудача, просто ледяная вода, из которой легко можно выбраться на берег. Но неожиданно течение закручивает и тащит ее с такой мускулистой силой, как будто притаившийся на дне атлет мертвой хваткой схватил ее за ноги. В этом чувствуется что-то личное.

Примерно час спустя ее муж возвращается из сада. “Мадам вышла, – сообщает ему горничная, взбивая ветхую подушку, вокруг которой немедленно образуется маленькая пуховая буря. – Сказала, что скоро придет”.

Леонард поднимается в гостиную послушать новости. На столе он замечает голубой конверт, на котором стоит его имя. В конверте письмо:

Дорогой, я чувствую, что снова схожу с ума. Я уверена в этом, как и в том, что повторения этого кошмара мы просто не вынесем. Я знаю, что больше никогда уже не приду в себя. Я опять слышу голоса и не могу сосредоточиться. Поэтому я собираюсь сделать то, что кажется мне единственно правильным. Ты подарил мне счастье, больше которого не бывает. Ты был для меня всем, всем во всех смыслах. Наверное, мы были самой счастливой парой на свете, пока не началась эта жуткая болезнь, с которой я не в силах больше бороться. Я знаю, что порчу тебе жизнь, что без меня ты смог бы работать. И ты будешь работать, я верю. Видишь, я даже простую записку и то уже не способна написать. Я не могу читать. Просто мне хотелось сказать, что именно тебе я обязана всем, что было хорошего в моей жизни. Ты был невероятно терпелив и удивительно добр. Мне хочется это сказать, хотя это без того всем известно. Если кто-то и мог бы меня спасти, так только ты. Я потеряла все, кроме уверенности в твоей доброте. Я не могу больше портить тебе жизнь. По-моему, мы с тобой были самыми счастливыми людьми на свете.

В.

Леонард выскакивает из гостиной, бросается вниз по лестнице. “Боюсь, с миссис Вулф что-то случилось, – говорит он горничной. – Возможно, она попыталась покончить с собой. Куда она пошла? Вы видели, как она выходила из дому?”

Перепуганная горничная ударяется в слезы. Леонард выбегает из дома и спешит к реке, мимо церкви и стада овец, мимо зарослей тальника. На берегу не видно никого, кроме рыболова в красной куртке.

Ее быстро уносит течением. Кажется, что она летит раскинув руки – фантастическое существо с развевающимися волосами и вздымающимися за спиной полами пальто, – грузно летит сквозь блики карего зернистого света. Ее ступни (туфли свалились) иногда задевают о дно, взбаламучивая ил и поднимая черные скелетики листьев, – медленные облака илистой мути почти неподвижно стоят в воде и после того, как сама она давно уплыла дальше. Стебли черно-зеленых водорослей, приставшие к ее волосам и пальто, плотной повязкой ложатся ей на глаза, потом соскальзывают и плывут рядом, то сплетаясь, то расплетаясь, то сплетаясь, то расплетаясь, снова и снова.

В конце концов течение прижимает ее к приземистой квадратной опоре моста в Саутисе, спиной к реке, лицом к камню. Одна ее рука согнута в локте перед грудью, другая вытянута вдоль бедра. Над ней покрытая рябью сверкающая поверхность, в которой дробится тяжелое белое небо, прошитое темными силуэтами грачей. По мосту с грохотом несутся легковушки и грузовики. Мать с сыном (ему года три, не больше) переходят через мост. В руках у мальчика сломанная ветка. Он останавливается, приседает на корточки и пропихивает ее между перекладинами моста. Ветка падает в воду. Мать торопит ребенка, но потом все-таки разрешает ему постоять и посмотреть вниз на уплывающую ветку.

Итак, вот этот вечер в начале Второй мировой войны, вот мальчик с мамой на мосту, вот плывущая ветка, вот тело Вирджинии на речном дне, как будто ей снится все это: вода, мальчик с мамой, небо, грачи. По мосту грохочет грузовик. В кузове, обтянутом грязно-зеленым брезентом, солдаты в форме. Они машут мальчику, который только что бросил в воду ветку. Мальчик машет в ответ. Потом просит мать взять его на руки, чтобы лучше видеть солдат и чтобы они его лучше видели. Это передается мосту, резонирует в его дереве и камне, входит в тело Вирджинии. Ее лицо, прижатое щекой к свае, вбирает в себя все это: грузовик и солдат, мать и ребенка.

Миссис Дэллоуэй

Остается еще купить цветы. Кларисса симулирует недовольство (хотя на самом деле любит заниматься такими вещами), оставляет Салли отдраивать ванну и выбегает, пообещав вернуться через полчаса максимум.

Нью-Йорк. Конец двадцатого века.

Входная дверь распахивается в июньское утро такой чистоты и прозрачности, что Кларисса невольно застывает на пороге, как замерла бы на краю бассейна над бирюзовой водой, плещущей о кафель, разглядывая жидкие сетки солнечного света, покачивающиеся в голубой глубине. Стоя на бортике бассейна, она вот так же оттягивала бы прыжок сквозь тончайшую мембрану холода, чистый шок погружения. Несмотря на свою бездонную деградацию, при всей своей оглушительной и безнадежной коричневой обветшалости, Нью-Йорк обязательно дарит несколько вот таких летних утр; утр, исполненных столь непоколебимой веры в обновление, что она даже немного комична, как мультипликационный персонаж, без конца попадающий во всякие невероятные передряги и всегда выходящий из них целым и невредимым, готовый к новым подвигам.

И в этом июне деревья на Западной Десятой улице, торчащие в своих бетонных кадках среди собачьего дерьма и бумажных оберток, снова произвели на свет фантастические маленькие листочки. А в пыльном заоконном ящике у старушки из дома напротив между блекло-красными пластиковыми геранями пробился инородный одуванчик.

Как удивительно, как потрясающе на самом деле быть живой в такое июньское утро, живой и здоровой, почти неприлично богатой, спешащей в город по простому и понятному поводу. Она, Кларисса Воган, обычная женщина (в ее годы уже не имеет смысла прикидываться, что это не так), должна купить цветы и устроить прием. Кларисса переступает порог, и ее туфля устанавливает скрипучий контакт с красновато-рыжим, поблескивающим слюдой камнем верхней ступеньки. Клариссе пятьдесят два, всего пятьдесят два, и она в почти противоестественно хорошей физической форме. Она чувствует себя практически так же бодро, как в то утро в Уэлфлите, когда, восемнадцатилетняя, распахнула стеклянную дверь и шагнула в такой же свежий и пронзительно ясный летний день, просквоженный солнечной зеленью. Стрекозы зигзагами носились среди рогоза. Пахло травой и соснами. Ричард тоже вышел следом за ней, положил руку ей на плечо и сказал: “Ну, здравствуй,

миссис Дэллоуэй”. Это он дал ей такое прозвище – взбалмошная мысль, бог весть почему пришедшая ему в голову на одной пьяной вечеринке в общежитии, когда он вдруг принялся доказывать, что фамилия Воган ей не подходит. Она должна носить имя какой-нибудь великой литературной героини, заявил он и, отвергнув предложенных ею Изабеллу Арчер и Анну Каренину, настоял на миссис Дэллоуэй как на единственно приемлемом варианте. Дело было не только в совпадении имен, достаточно знаменательном самом по себе, но – что еще важнее – в предощущении сходной судьбы. Было очевидно, что провидение не потребует от Клариссы вступить в катастрофический брак или броситься под колеса поезда. Ей предназначено чаровать и процветать. Из чего с неотвратимостью следовало, что она есть и будет миссис Дэллоуэй. “Красиво, правда?” – сказала она в то утро Ричарду. “Красота – шлюха, – ответил он. – Я предпочитаю деньги”. Ему нравилось острить. Кларисса, как самая юная в их компании и вдобавок единственная женщина, чувствовала, что имеет право на некоторую сентиментальность. Если тогда шел конец июня, они с Ричардом уже были любовниками. Уже миновал почти целый месяц, как Ричард оставил Луи (Луи, фантазия на тему “мальчишка с фермы”, ходячая чувственность с томным взором) и пришел к ней.

– А я предпочитаю красоту, – сказала она. Потом сняла с плеча его руку и укусила за кончик указательного пальца чуть сильнее, чем собиралась. В восемнадцать лет, с новым именем можно было позволить себе все что угодно.

Наждачно шурша гравием, Кларисса спускается по ступенькам. Почему она не способна острее переживать Ричардовы так неуместно совпавшие успех (“пророческий, исполненный подлинного страдания голос американской литературы”) и упадок (“мы вообще не можем обнаружить у вас Т-лимфоцитов”)? Что с ней?

Она любит Ричарда, она постоянно думает о нем, но этот летний день она любит все-таки немножко больше. Она любит Десятую улицу по утрам. Иногда она чувствует себя бесстыжей вдовой, которая, обесцветив волосы пергидролем, под прикрытием траурной вуали высматривает перспективных женихов на мужниных поминках. Из них троих – Луи, Ричард, Кларисса – она всегда была самой циничной и наиболее склонной к романтическим авантюрам. Она терпит подтрунивания по этому поводу уже более тридцати лет. Для себя она давно решила отказаться от борьбы и извлекать максимум удовольствия из своих недисциплинированных чувственных эскапад, которые, по замечанию Ричарда, сильно смахивают на недобрые и вместе с тем полные неподдельного обожания

реакции не по летам развитого, на редкость противного ребенка. Она знает, что поэт типа Ричарда стал бы редактировать это утро, вымарывая случайную уродливость вместе со случайной красотой в поисках экономической и исторической правды, стоящей за здешними старинными кирпичными таунхаусами[1 - Таунхаус – городской особняк, часто с прилегающим садом. (Здесь и далее – прим. перев.)], угрюмыми архитектурными излишествами епископального собора и сухопарым мужчиной средних лет, выгуливающим джек-рассел-терьера (эти бойкие кривоногие собачки стали вдруг необычайно популярны на Пятой авеню), а она, Кларисса, просто наслаждается видом этих домов, этого собора, этого прохожего с собакой, наслаждается, и все. Это по-детски, она понимает. Слишком некритично. Такая любовь – попробуй она (в ее годы!) признаться в этом прилюдно – поставила бы ее на одну доску с наивными простаками, христианами с акустическими гитарами и женами, отказавшимися от вредных привычек в обмен на свое содержание. И тем не менее она чувствует, что в этой неразборчивой любви есть что-то невероятно глубокое, как если бы все в мире было частью огромного непостижимого плана и каждая вещь носила тайное имя, не поддающееся языковому выражению, но являющееся самой этой вещью, как мы ее видим и чувствуем. Это абсолютное и безусловное восхищение и есть, как она начинает думать, ее душа (смущающее, сентиментальное слово, но как еще это назвать?), та ее составляющая, которая, возможно, переживет распад тела. Кларисса никогда ни с кем этого не обсуждает. Она не щебечет и не захлебывается от восторга. Лишь изредка восклицает что-нибудь по поводу очевидных проявлений прекрасного, и то сохраняя определенную взрослую сдержанность. Красота – шлюха, порой говорит она. Я предпочитаю деньги.

Сегодня вечером она устроит прием. Наполнит комнаты своего дома яствами и цветами, остроумными и влиятельными людьми. Она поможет Ричарду все это пережить, проследит, чтобы он не переутомился, и затем отвезет его на церемонию награждения.

Ожидая зеленый свет на пересечении Восьмой улицы с Пятой авеню, Кларисса расправляет плечи. Ага, вот она, думает проходящий мимо Уилли Басс, регулярно встречающий ее по утрам именно на этом перекрестке. Постаревшая красавица, вышедшая в тираж длинноволосая, вызывающе седая хиппи в джинсах, хлопковой мужской рубахе и экзотических (Индия? Центральная Америка?) домашних туфлях на босу ногу. В ней еще сохраняется некоторая сексуальная привлекательность, богемный шарм доброй колдуньи, и все-таки сегодня она скорее являет собой трагическое зрелище, стоя вот так, с прямой спиной, в просторной рубашке и фольклорных туфлях, наперекор земному

тяготению; женщина-мамонт, уже по колено в гудроне, сделавшая короткую передышку между безрезультатными попытками высвободиться, большая и гордая, почти бесстрастная, притворяющаяся, что разглядывает нежную траву, призывно зеленеющую на противоположном берегу, хотя вряд ли уже сомневается, что попалась, что, беспомощная и одинокая, останется здесь до утра легкой добычей для голодных шакалов. Наверное, лет двадцать пять назад она была весьма эффектной; наверное, мужики таяли от счастья в ее объятиях. Уилли Басс гордится своим умением читать историю человека по его лицу, своей способностью помнить, что тот, кто сейчас состарился, был когда-то молод. Светофор меняет свет, и он продолжает свой путь.

Кларисса переходит Восьмую улицу, испытывая отчаянную нежность к сломанному телевизору, валяющемуся у края тротуара рядом с сиротливой белой туфлей из лакированной кожи, и к тележке уличного торговца с разложенными на ней брокколи, персиками и манго; каждый плод снабжен специальным ценником, испещренным избыточными знаками препинания: “$ 1.49!!”, “3 за один доллар!?!”, “50 центов за штуку!!!”. Впереди, под Триумфальной аркой, устроившись ровно посередине между статуями-близнецами Джорджа Вашингтона – воина и политика (и у того и у другого лица разрушены непогодой), поет старуха в строгом темном платье. Восхищает именно пестрота города, его рваный ритм, его запутанность, его ни на секунду не прекращающаяся жизнь. Да, вы читали историю Манхэттена, вы помните, что когда-то тут был участок дикой природы, купленный за несколько ниток бус, но сегодня в это почти уже невозможно поверить. Кажется, что, если начать копать, обязательно наткнешься на руины другого, более древнего города, потом еще более древнего, и так до бесконечности. Под асфальтом и травой парка (она вошла в парк, туда, где, закинув голову, поет старуха) лежат кости погребенных в “земле горшечника”, на том самом кладбище для бедняков и бродяг, что вот уже сто лет как покрыли брусчаткой, превратив в Вашингтон-сквер. Под ногами Клариссы кости мертвецов, вокруг какие-то типы шепотом предлагают наркотики (не ей), мимо проносятся три юные негритянки на роликах, и тут же старуха тянет свое монотонное и-и-и-и-и-и-и. Кларисса идет быстро и легко, радуясь своему везению и удобным туфлям (купленным на распродаже в магазине Барни, но тем не менее), по парку, неуничтожимую запущенность которого не замаскируешь никакими покровами травы и цветов, мимо продавцов наркотиков (неужели они действительно убьют тебя в случае чего?), мимо сумасшедших, от которых фортуна (если и была к ним когда-то благосклонна) теперь явно отвернулась. И все-таки она любит этот мир именно потому, что он так груб и непреложен, и все остальные, бедные и богатые, тоже его любят, хотя и не могут объяснить за что. Иначе почему мы так цепляемся

за жизнь, как бы плохо нам ни было? Даже если нам еще хуже, чем Ричарду, даже если от нас уже почти ничего не осталось, даже если наши тела – сплошные гнойные язвы, даже если мы гадим под себя. Наверное, дело как раз в этой беспричинной любви. Бетон, гудя, напряженно подрагивает под колесами бесчисленных автомобилей, фонтан выдувает длинные разноцветные ленты, голые по пояс юноши бросают друг другу фрисби[2 - Фрисби – спортивная “летающая тарелка”, обладающая свойствами бумеранга.], продавцы (из Перу или Гватемалы) жарят мясо на своих серебристых тележках-жаровнях в облаках едкого, пряного дыма; на залитых солнцем скамейках тихо беседуют, то и дело кивая, старички и старушки; блеют автомобильные гудки, бренчат гитары (вон та нечесаная группа – три мальчика и одна девочка – исполняет “Eight Miles High”[3 - “Восемь миль в высоту” (англ.).]); мерцает листва; пегий пес гоняется за голубями; из проезжающей машины доносится “Always love you”[4 - “Навеки твой” (англ.).]; под аркой старуха в черном выводит свое и-и-и-и-и-и.

Кларисса пересекает площадь, чувствуя, как на коже оседает мельчайшая водяная пыль от фонтана, и нос к носу сталкивается с Уолтером Харди. Вот он, мускулистый, в шортах и белой майке с открытыми плечами, атлетическим шагом направляется на пробежку в парк. “Здорово”, – бросает он с подчеркнуто просторечной интонацией, и они целуются (смущающе-неловкий момент): Уолтер нацеливается на Клариссины губы, а она инстинктивно отстраняется, подставляя щеку, потом, сама себя одернув, поворачивается, но момент упущен, и губы Уолтера касаются лишь уголка ее губ. Я такая чопорная, думает Кларисса, такая старомодная. Чуть не падаю в обморок от красот природы и не могу поцеловать приятеля в губы. Ричард еще тридцать лет назад утверждал, что за ее внешностью маленькой разбойницы на самом деле скрывается патриархальная домохозяйка со всем необходимым набором соответствующих качеств, и в последнее время она с грустью фиксирует все новые и новые подтверждения своей духовной ограниченности и конформизма. Раздражение ее дочери абсолютно объяснимо.

– Рад тебя видеть, – говорит Уолтер.

Кларисса понимает, она, можно сказать, видит, что Уолтер работает сейчас над решением нетривиальной задачи по установлению места ее личной значимости в сложно устроенной социальной иерархии. Да, она литературная героиня, женщина из долгожданного романа почти легендарного писателя, но книга-то провалилась, верно? Несколько коротких рецензий, и все – волны опять сомкнулись. Кларисса, решает Уолтер, как низвергнутая аристократка,

интересна, но не влиятельна. Задача решена. Кларисса улыбается.

– С каких это пор ты по субботам в Нью-Йорке? – спрашивает она.

– Мы с Эваном решили никуда не уезжать на эти выходные, – отвечает Уолтер. – От новых лекарств Эвану настолько лучше, что он хочет сегодня пойти потанцевать.

– А это не слишком?

– Я за ним прослежу. Не дам перетрудиться. Просто ему хочется побыть на людях.

– Как ты думаешь, он смог бы добраться до нас вечерком? У нас сегодня прием в честь присуждения Ричарду Карруцеровской премии.

– О! Здорово!

– Ты ведь слышал об этом, правда?

– Конечно.

– Это не ежегодная процедура. У них нет жесткой квоты, как у Нобелевского комитета или еще у кого-нибудь. Они просто присуждают премию, если чье-то творчество становится, ну, как бы неоспоримым культурным явлением.

– Замечательно.

– Да, – говорит она и, помолчав, добавляет: – Последним лауреатом был Эшбери. До него Меррилл, Рич и Мервин.

Широкое детское лицо Уолтера мрачнеет. Может быть, его озадачили имена? – недоумевает Кларисса. Или это зависть? Неужели он тоже претендует на такую честь?

– Прости, что не предупредила заранее, – говорит Кларисса. – Я думала, тебя не будет в городе. Ведь вы с Эваном всегда куда-нибудь уезжаете на выходные.

Уолтер заверяет, что непременно заглянет и постарается привести Эвана, если, конечно, тот не предпочтет поберечь силы для танцев. Кларисса понимает, что и Ричард, и Салли, узнав, кого она пригласила, придут в ярость. Трудно найти что-либо менее загадочное, чем стойкая неприязнь, которую большинство людей испытывают к Уолтеру Харди, продолжающему в свои сорок шесть расхаживать в бейсболках и кроссовках; загребающему непотребные деньги на сочинительстве бульварных романов о встречах и разлуках идеально сложенных юношей; способному ночь напролет танцевать под ресторанную музычку, счастливый и неутомимый, как немецкая овчарка, приносящая палку. В Челси и Гринич-Виллидж часто видишь мужчин этого типа. Сколько бы им ни было – тридцать, сорок, за сорок, – они неизменно бодры, уверены в себе, всегда в отличной спортивной форме; всем своим видом они дают понять, что никогда не были странными детьми, что их никто никогда не дразнил и не презирал. По мнению Ричарда, такие вечно юные гомосексуалисты компрометируют дело в гораздо большей степени, чем совратители малолетних, не говоря уже о том, что в интересе Уолтера к славе, моде, ресторанам нет и тени взрослой иронии или цинизма, нет даже отдаленного намека на глубину. Но Клариссе такая простодушная ненасытность как раз и нравится. За что мы любим детей? В частности, за то, что они живут за пределами мира иронии и цинизма. Что ужасного в стремлении мужчины продлить свою молодость, в желании наслаждаться жизнью? И вообще, нельзя сказать, что Уолтер просто продался. Нет, на самом деле он делает максимум того, на что способен: его книги полны любви и жертвенности, мужества перед лицом тяжелых испытаний – у такого рода литературы наверняка должен быть свой круг благодарных читателей. Уолтер всегда участвует в благотворительных вечерах и подписывает письма протеста; его преувеличенно восторженные рекламные отзывы регулярно украшают обложки книг менее именитых авторов. Он добросовестно и преданно заботится об Эване. Сегодня, думает Кларисса, в людях главным образом ценишь доброту и верность. Остроумие и интеллектуальная глубина, все эти разнообразные проявления гениальности рано или поздно утомляют. И она отказывается разлюбить откровенную мелкость Уолтера Харди, несмотря на фырканье Салли и раздражение Ричарда, который даже полюбопытствовал как-то вслух, не связано ли это с поверхностностью и недалекостью самой Клариссы.

– Отлично, – говорит Кларисса. – Адрес ты помнишь. В пять часов.

– Договорились.

– Награждение в восемь. Но мы хотим всех собрать не после, а до. Ричарду нельзя поздно ложиться.

– Понятно. Значит, в пять. До скорого.

Уолтер сжимает Клариссину руку и следует дальше – упругим, энергичным шагом, призванным продемонстрировать его витальную силу. Это жестокая шутка на самом деле – пригласить Уолтера на чествование Ричарда, но, в конце концов, Уолтер тоже жив нынешним июньским утром, и он бы страшно обиделся, если бы узнал (а он бы обязательно узнал), что Кларисса разговаривала с ним в этот день и умышленно не упомянула о приеме. Ветер шевелит листву, обнажая ее яркую серебристо-седую изнанку, и Клариссе вдруг безумно – ей даже самой странно, насколько – хочется, чтобы прямо сейчас рядом с ней стоял Ричард, не сегодняшний Ричард, а тот, каким он был десять лет назад: Ричард – бесстрашный и неутомимый собеседник, Ричард-зануда. Ей хочется спора, который они бы обязательно затеяли по поводу Уолтера. Пока Ричард не заболел, они всегда спорили. Ричарда всерьез занимали вопросы добра и зла, и за все двадцать лет он, в общем-то, так и не изменил своего мнения о том, что решение Клариссы жить с Салли если и не является ежедневной манифестацией ее глубокой внутренней испорченности, то уж во всяком случае свидетельствует о ее слабости и бросает тень (впрочем, он никогда бы не сказал этого прямо) на репутацию женщин в целом – ведь Ричард давно уж постановил, что Кларисса в ответе не только за саму себя, но за весь женский пол вместе со всеми его достоинствами и недостатками. Ричард всегда был самым непреклонным и самым противным Клариссиным оппонентом, ее лучшим другом, и, оставайся он таким, как прежде, не разрушенным болезнью, они бы и в самом деле могли шагать сейчас рядом, рассуждая об Уолтере Харди и погоне за вечной молодостью или о том, как голубые с годами начинают подражать подросткам, изводившим их в старших классах. Тот, прежний Ричард мог бы полчаса, а то и дольше анализировать замысел чернокожего художника, намалевавшего мелом на асфальте копию боттичеллиевской Венеры, а увидев подхваченный ветром целлофановый пакет, медузообразно зыбящийся на фоне белесого неба, начать разглагольствовать о развитии химии. Он бы придумал целую историю о том, как этот пакет (в котором когда-то лежали чипсы или, допустим, перезрелые бананы и который, выходя из супермаркета, неосмотрительно выбросила замороченная мамаша, со всех сторон облепленная ссорящимися детьми) сдует в Гудзон и унесет в океан и морская черепаха, существо,

которому природой назначено жить сотни лет, по ошибке примет его за медузу, проглотит и умрет. С рассказа о черепахе тот, прежний Ричард без труда перескочил бы прямо к Салли и подчеркнуто формальным тоном осведомился о ее здоровье и успехах. У него вошло в привычку спрашивать про Салли сразу после своих вдохновенных импровизаций, словно Салли (страдающая, стойкая, тонкая и глубокая Салли) была какой-то безопасной гаванью, совершенно заурядной и безвредной, чем-то вроде уютного домика на тихой улице или надежной качественной автомашины. Ричард никогда не сознается в своей нелюбви, но и никогда не переменится к ней, никогда; ни за что не отречется от своей убежденности, что Кларисса превратилась в душе в обывательницу, – и это несмотря на то, что ни она, ни Салли не скрывали и не скрывают своих отношений, несмотря на то, что Салли верная и умная женщина, продюсер общественного телевидения, господи боже ты мой, да какие же еще обязанности ей следует взвалить на свои плечи, насколько меньше нужно зарабатывать? А талантливые, абсолютно некоммерческие книги, которые Кларисса пробивает наряду с более выгодными проектами, без которых издательство бы просто рухнуло?! А ее политические взгляды, ее работа с PWAs[5 - PWAs (Persons with AIDS) – носители ВИЧ (англ.).]?! Всего этого он просто не замечает!

Переходя Хаустон-стрит, Кларисса задумывается, не купить ли что-нибудь Эвану в связи с его предположительно наметившимся выздоровлением. Только не цветы, они и для покойников-то не очень хороши, а дарить их больным – просто кошмар! Но что тогда? В магазинах Сохо сплошные вечерние наряды, ювелирные украшения и бидермейер[6 - Бидермейер – стилевое направление в искусстве.], ничего подходящего для самолюбивого молодого человека с интеллектуальными запросами, который с помощью батареи лекарств (или да, или нет) протянет дольше обычного. Что вообще можно подарить?

Проходя мимо магазинной витрины, Кларисса подумывает о покупке платья для Джулии; как потрясающе смотрелось бы на ней вон то коротенькое черное с бретельками, как у Анны Маньяни, но Джулия не носит платьев, упорно предпочитая проводить юность – краткий период, когда можно одеваться как угодно, – расхаживая в мужских футболках и грубых башмаках размером с зольники. (Почему ее дочь так мало рассказывает ей о себе? Куда девалось кольцо, которое Кларисса подарила ей на восемнадцатилетие?) Вот неплохой книжный магазинчик на Спринг-стрит. Может, купить Эвану книгу? В витрине выставлена одна (всего одна!) Клариссина (английский детектив; с какими боями ей удалось отстоять тираж в десять тысяч и как жалко она теперь смотрится: словно никто не надеется реализовать и половины) рядом

с латиноамериканской сагой, право на публикацию которой Кларисса проиграла более крупному издательству – им, кстати, едва ли удастся на ней заработать, потому что по таинственным причинам их издательство уважают, но не любят. Еще есть новая биография Роберта Мэплторпа и стихи Луиса Глюка, нет, все не то. Эти книги одновременно какие-то слишком неконкретные и слишком специальные. Хочется подарить ему книгу о его собственной жизни, книгу, которая бы помогла ему разобраться, откуда он взялся и где находится, книгу, дающую силы меняться. Не явишься же со сплетней о знаменитости! Или с фантазиями озлобившегося английского романиста! Или с историей семи сестер из Чили, как бы красиво она ни была написана. А сборник стихов Эван раскроет с такой же вероятностью, с какой станет расписывать фарфоровые тарелки.

Нет, похоже, мир вещей не может подарить утешение, а Кларисса сильно опасается, что искусство, даже величайшее (даже три Ричардовых сборника поэзии и его единственный неудобочитаемый роман), все-таки принадлежит к миру вещей. Кларисса стоит перед витриной книжного магазина, и вдруг на нее наплывает старое воспоминание: ветка трется листьями о стекло, а где-то (внизу?) начинается тихая музыка, еле слышный стон джаз-банда на проигрывателе. Это не самое первое ее воспоминание (там улитка, ползущая по краю тротуара) и даже не второе (мамины соломенные туфли или, наоборот, это первое, а то – второе), но именно в этом есть что-то невероятно значимое и глубокое, почти чудесно уютное и обнадеживающее. Наверное, она в Висконсине, в одном из тех домов, что родители снимали на лето (чуть ли не каждый сезон новый, так как мать всегда обнаруживала в предыдущем какие-нибудь недостатки, превращающие его в тему для очередного сюжета из ее бесконечной эпопеи о Скорбном Странствии Семьи Воган по долинам Висконсина). Клариссе, видимо, года три-четыре; она в доме, в который никогда уже не вернется и с которым у нее не связано больше никаких воспоминаний, только вот это, абсолютно четкое и живое, сохранившееся в памяти лучше многих вчерашних событий: ветка, хлопающая листьями по стеклу, и первые звуки духовых – как будто возникновение музыки каким-то образом связано с деревом, потревоженным ветром. Наверное, именно с этого мгновения начинается ее бытие в мире; наверное, именно в этот момент она начала понимать обещания, подразумеваемые миропорядком, превышающим наши представления о счастье, хотя и включающим его наряду со всем прочим. Та ветка и та музыка намного важнее для нее всех этих книг на витрине. Ей хотелось бы подарить Эвану и самой себе книгу, обладающую тем же качеством, что и это воспоминание. Она стоит, разглядывая книги и свое отражение в стекле (она уже не хорошенькая, но все еще довольно красивая – когда же,

интересно, начнут появляться первые признаки старости: морщины, нездоровая худоба, увядшие губы?), и идет дальше, досадуя, что не может купить Джулии то миленькое черное платьице, поскольку ее дочь, находясь в идеологическом плену у крайне сомнительной особы, настаивает на футболках и военных башмаках. Невозможно не уважать Мэри Кралл за ее готовность существовать на грани нищеты, за ее бесстрашные стычки с полицией, за ее страстные лекции в Нью-Йоркском университете о жалком маскараде под названием пол – она просто не оставляет вам другого выбора. Ты честно стараешься ее полюбить, но она слишком деспотична, слишком интеллектуально и морально возбуждена, слишком безжалостна в бесконечной демонстрации своей правоты, колючей, как острые края кожаной куртки. Кларисса не сомневается, что Мэри презирает ее за любовь к комфорту и странную (она, конечно, считает это странным) лесбийскую ориентацию. Когда к тебе относятся как к врагу, устаешь – просто в силу возраста и потому, что уже невозможно одеваться слишком экстравагантно. Хочется заорать на нее, чтобы она наконец поняла, что все это не так уж важно; хочется, чтобы она хотя бы несколько дней побыла в твоей шкуре, узнала твои тревоги и заботы, твой безымянный страх. Кларисса чувствует – она знает, – что они с Мэри Кралл страдают от одной и той же неизлечимой болезни, некоего комплекса душевной сверхгигиены, и, повернись диск еще на пол-оборота, могли бы стать подругами, но Мэри пришла за ее дочерью, и Кларисса, сидя в своей комфортабельной квартире, ненавидит ее так же, как всякий папаша-республиканец на ее месте. Клариссиному отцу, такому нежному и тонкому, что он чуть ли не просвечивал, нравились женщины в коротеньких черных платьицах. Он сломался; он отказался от своих принципов, как часто отказывался от спора просто потому, что проще было уступить. Впереди, на Макдугал, снимают кино – там обычная неразбериха: грузовики с оборудованием, трейлеры, белые огни юпитеров. Жизнь продолжается; снимают кино; мальчик-пуэрториканец серебристым шестом раскрывает с тугим хлопком тент уличного кафе. Жизнь продолжается, и ты еще здесь. И ты благодарна. Стараешься быть благодарной. Кларисса толкает вечно заедающую дверь цветочного магазина и входит. Вот она, высокая статная женщина, в царстве роз и гиацинтов, мшистых низких корзин с марантой и нежных орхидей, подрагивающих на тонких стебельках.

– Добрый день, – приветствует ее Барбара, работающая в магазине уже много лет.

Потом, после паузы, предлагает Клариссе щеку для поцелуя.

– Добрый день, – отвечает Кларисса.

Она касается губами кожи Барбары и вдруг чувствует, что это мгновение совершенно. Она стоит в неярко освещенном, приятно прохладном магазинчике, торжественном и роскошном, как храм, оглядывая свисающие с потолка сухие букеты и ворох разноцветных лент на задней стене. Да, существовала та ветка, хлопающая по стеклу, и потом еще одна – Клариссе было, наверное, лет пять-шесть – в окне спальни, ветка с красными листьями, и она помнит, что уже тогда, глядя на эту ветку, вспоминала ту, первую, связанную с музыкой, приплывшей откуда-то снизу. Она прекрасно помнит, что любила эту осеннюю ветку именно за то, что она напоминала ей о первой, хлопающей по стеклу дома, в который она уже никогда не вернется и о котором ничего больше не помнит. Теперь она стоит в цветочном магазине на фоне темно-розовых маков на высоких волосатых стеблях. Ее мать, державшая в ридикюле коробочку белоснежных мятных леденцов, поджимала губы и кокетливо-восхищенным тоном называла Клариссу сумасшедшей девчонкой.

– Как дела? – спрашивает Барбара.

– Прекрасно, лучше не бывает, – отвечает Кларисса. – Сегодня у нас небольшой прием – нашему другу присудили на днях очень почетную литературную премию.

– Пулитцеровскую?

– Нет. Карруцеровскую.

Барбара делает озадаченную мину, которая, по-видимому, призвана изобразить улыбку. Барбаре около сорока. Это бледная полная женщина, приехавшая в Нью-Йорк петь в опере. Глядя на ее лицо – квадратная челюсть, суровые невыразительные глаза, – невольно проникаешься сознанием того, что и сто лет назад люди выглядели примерно так же.

– У нас сейчас не очень богатый выбор, – говорит она. – На этой неделе прошло пятьдесят свадеб.

– Да мне не нужно ничего особенного, – отвечает Кларисса. – Просто пару букетов, все равно каких.

По непонятной причине Кларисса чувствует себя виноватой перед Барбарой за недостаток дружеского участия, хотя их общение – это исключительно общение покупательницы и продавщицы. Если ей нужны цветы, Кларисса всегда заходит сюда, а год назад, когда у Барбары заподозрили рак груди, даже послала ей открытку. Оперная карьера у Барбары не сложилась; она кое-как перебивается на свою почасовую зарплату (снимает квартиру, может быть, с ванной в кухне) и на сегодняшний день избежала угрозы рака. На мгновение над розами и лилиями возникает призрак Мэри Кралл, готовой ужаснуться тому, на что Кларисса собирается выбросить деньги.

– У нас есть красивые гортензии, – говорит Барбара.

– Давайте посмотрим.

Кларисса проходит в ту часть магазина, где работает рефрижератор, и перебирает цветы, вытягиваемые Барбарой из специальных пластмассовых контейнеров. С цветов капает вода. В девятнадцатом веке Барбара была бы фермершей, тихой и неприметной, хмуро копающейся в саду. Кларисса выбирает пионы, звездчатые лилии, чайные розы, отвергает гортензии (о, это чувство вины, наверное, ей от него уже никогда не избавиться), разглядывает ирисы (в ирисах есть что-то немного устаревшее), когда вдруг с улицы доносится жуткий грохот.

– Это еще что такое? – удивленно восклицает Барбара.

Они с Клариссой подходят к окну.

– Наверное, у киношников что-то взорвалось.

– Наверное. Они здесь с самого утра снимают.

– А что именно?

– Не знаю, – отвечает Барбара и с охапкой цветов в руках отворачивается от окна, воспроизводя высокоморальную и немного старушечью пластику своего призрачного двойника прошлого века, который вот так же отвернулся бы от тарахтящего мимо экипажа, набитого нарядно одетыми жителями

отдаленного городка, выбравшимися на пикник. Кларисса остается у окна, разглядывая скопление техники. Вдруг дверь одного из трейлеров распахивается, и из нее высовывается знаменитая женская голова. Она далеко и видна только в профиль, как на монете, но Кларисса не сомневается, хотя и не может сразу точно определить, кто это (Мерил Стрип? Ванесса Редгрейв?), что перед ней кинозвезда. Это чувствуется по особой исходящей от нее эманации царственной уверенности и по тому, с какой готовностью кто-то из ассистентов объясняет ей (беззвучно для Клариссы) причину шума. Голова быстро исчезает, дверь трейлера захлопывается, но в воздухе остается безошибочное ощущение продолжающегося надзора, как если бы ангел на мгновение коснулся сандалией поверхности нашей планеты, поинтересовался, все ли в порядке, и, получив утвердительный ответ, со скептическим видом вернулся на свое место в небесном эфире, напомнив смертным, что им лишь отчасти доверяют управление земными делами и что никакая оплошность впредь не пройдет незамеченной.

Миссис Вулф

Миссис Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы[7 - Здесь и в дальнейшем цитаты из романа Вирджинии Вулф “Миссис Дэллоуэй” приводятся в переводе Е. Суриц по изданию: Вирджиния Вулф. Избранное. М., 1996.].

Пригород Лондона. 1923 год.

Вирджиния просыпается. Да, конечно, можно начать не с солдат, марширующих с венками по Уайтхоллу, а с того, как Кларисса июньским утром отправляется за цветами. Но хорошо ли это? Не слишком ли банально? Вирджиния не шевелясь лежит в постели и снова проваливается в сон, причем так быстро, что даже не успевает этого осознать. Просто кажется вдруг, что она не в своей комнате, а в парке, причем особенном парке, каком-то идеально зеленом – в платоновском смысле, – одновременно уютном и таинственном, где есть старушка в платке, дремлющая на растрескавшейся скамейке, и тут же рядом что-то еще: не злое, не доброе, древнее и живое, вечно длящееся и потому всегда побеждающее, то, что объединяет зеленые просторы ферм и лугов, лесов

и парков. Бестелесная Вирджиния идет, точнее плывет по парку перышком чистого постижения. Вот ровные ряды пионов и лилий, вот гравийные дорожки, обсаженные по краям чайными розами. Отполированная бессчетными дождями и ветрами каменная дева задумчиво глядится в прозрачную воду пруда. Вирджиния скользит вперед, как на воздушной подушке, и вдруг отчетливо понимает, что под этим парком расположен другой, парк подземного мира, еще более восхитительный и загадочный, он корень, из которого вырастают эти газоны и аллеи. Он подлинная идея парка, и красота далеко не единственная его особенность. Теперь Вирджиния видит людей: вот китаец, наклонившись, поднимает что-то с травы, вот маленькая девочка замерла в ожидании. Впереди на свежевскопанном пятачке поет женщина.

Вирджиния снова просыпается. Она в своей спальне в Хогарт-хаус. Комната тонет в седом, приглушенно-стальном полумраке; лужицы бледно-серого света, переливаясь, дрожат на одеяле, серебристые полосы колеблются на зеленых стенах. Ей снился парк и строка для новой книги. Какая? Цветы, что-то связанное с цветами. Или с парком? Кажется, кто-то пел? Нет, уже не вспомнить, да и не важно, потому что, хотя сами слова ушли, то, что было за ними, осталось. Вирджиния знает, что сейчас встанет и будет писать.

Она идет в ванную. Леонард, конечно, уже на ногах. Скорее всего, уже работает. Вирджиния умывается. Она не смотрится в овальное зеркало, висящее над раковиной, не позволяет себе смотреться. Это опасно – иногда в зеркале можно увидеть темное сгущение воздуха, повторяющее форму ее тела, существо с маленькими поросячьими глазками и влажным дыханием, стоящее у нее за спиной. Вирджиния умывается и не смотрит, только не сегодня, когда ее ждет работа и нужно войти в нее, как она могла бы, спустившись по лестнице, войти в залу, где уже начался прием, искрящийся остроумием и изяществом, но не просто остроумием и изяществом, а чем-то большим – неземным и золотистым, на чем лежит отблеск некой глубинной радости, сверкания самой жизни, между тем как шелка шуршат о натертый паркет и гости под музыку шепчут друг другу свои секреты. Она, Вирджиния, чувствует себя юной девушкой в новом платье, свежей и полной надежд, которой предстоит вот-вот появиться на верху лестницы. Нет, сегодня она не станет смотреться в зеркало. Вирджиния берет полотенце.

Выйдя из ванной, она, в бледно-голубом халате, спускается в сумеречную тишину холла. Здесь еще ночь. Хогарт-хаус вообще ночной, несмотря на вечно разбросанные бумаги и книги, яркие диванные подушки и персидские ковры.

Не то чтобы он был темным сам по себе, но чувствуется, что темнота где-то рядом, даже тогда, когда тусклое утреннее солнце пробивается сквозь шторы и по Парадайз-роуд громыхают экипажи и автомобили.

В столовой Вирджиния наливает себе кофе, но на кухню к Нелли не идет, слишком велика вероятность нарваться на Неллины жалобы и отчеты о покупках. Нет, ей нужно работать. Может получиться удачный день, если его не спугнуть. Стараясь не расплескать кофе, она спускается в типографию. Леонард сидит за столом, вычитывая гранки. Ральфа и Марджори еще нет.

Леонард поднимает на нее взгляд, исполненный особой суровости, с какой он всегда работает над корректурой. Это то самое выражение, которому она абсолютно доверяет и которого боится: пылающие темные глаза под кустистыми бровями, опущенные уголки рта; выражение лица человека, чей суд строг, но никоим образом не поспешен или мелочен, – нахмуренность божества, всеведущего и усталого, надеющегося на лучшее и в то же время прекрасно знающего, чего можно ожидать от рода человеческого. Именно с таким выражением он принимается за работу над любым текстом, в том числе – а может быть, даже в особенности – над ее собственным.

Но уже в следующий миг его взор теплеет, превращается в более мягкий и добрый взгляд мужа, самоотверженно ухаживавшего за ней в один из самых тяжких периодов ее болезни, не требующего от нее слишком многого и с переменным успехом впихивающего в нее по утрам стакан молока.

– Доброе утро, – говорит она.

– Доброе утро. Как сон?

Как сон, спрашивает Леонард, словно сон не процесс, а существо, которое может вести себя по-разному и быть то более, то менее покладистым.

– Сон был бессобытийным, – отвечает Вирджиния. – Это Том делал?

– Да.

– Ну и как?

Леонард снова мрачнеет:

– Одну ошибку я уже нашел. На первых же двух страницах.

– Одна ошибка в начале еще ни о чем не говорит. Тебе не кажется, что ты как-то слишком раздражен для утра?

– Ты завтракала? – спрашивает он.

– Да.

– Врешь.

– Я пью кофе со сливками. Этого достаточно.

– Абсолютно недостаточно. Я попрошу Нелли принести тебе булочку и фрукты.

– Если по твоей милости ко мне ворвется Нелли, я за себя не ручаюсь.

– Тебе обязательно нужно поесть, – говорит он. – Хотя бы немного.

– Я поем. Попозже. Сейчас я сажусь писать.

Какое-то мгновение он колеблется, затем кивает. Ее работа – это святое. Но то, что Вирджиния отказывается от еды, – плохой признак.

– Учти, от обеда тебе не отвертеться, – говорит он. – Нормального обеда: с супом, мясом и всем прочим. Сопротивление бесполезно.

– Я пообедаю, – говорит она резко, но беззлобно.

Она стоит перед ним высокая, худая, потрясающая в своем халате, с чашкой дымящегося кофе в руке. Она до сих пор его поражает иногда. Вполне возможно, что она самая умная женщина в Англии. Не исключено, что ее книги будут читать еще много веков. Он искренне верит в это. И она его жена. Это она, Вирджиния Стивен, в белом платье, высокая, удивительная, словно сошедшая

с картины Рембрандта или Веласкеса, появилась двадцать лет назад в кембриджской комнате своего брата и вот стоит сейчас перед ним. Она сильно сдала за последний год, как будто у нее из-под кожи выкачали воздух. Стала костлявой и изможденной. Похожей на статую из пористого светло-серого мрамора. Она по-прежнему царственна, грациозна, окружена особым лунным сиянием, но уже не красива.

– Ладно, – говорит он, – буду трудиться дальше.

Она крадучись, чтобы не привлечь внимание Нелли (откуда в ней этот комплекс вины перед прислугой, откуда это смущение?), поднимается к себе. Входит в кабинет, бесшумно закрывает за собой дверь. Уф, кажется, пронесло. Она раздвигает шторы, за которыми мирно почивает, как бы сам себе снясь, респектабельный Ричмонд. Цветы ухожены, живые изгороди подстрижены, ставни подкрашены. За жалюзи соседней виллы из красного кирпича продолжается невидимая жизнь ее обитателей, с которыми она так и не познакомилась. Ей чудятся тусклые комнаты, легкий запах тушеной пищи. Она отворачивается от окна. Если получится сохранить теперешнюю ясность, если удержаться хотя бы на шестидесяти килограммах, возможно, удастся уговорить Леонарда вернуться в Лондон. Многолетнее лечение тишиной и покоем среди клумб с цветущим шпорником и красных пригородных вилл будет признано успешным, а ее состояние удовлетворительным и дающим право на возвращение к городской жизни. Да, она пообедает. Ей следовало позавтракать, но это привело бы к неизбежному и совершенно недопустимому контакту с настроением Нелли. Примерно час она поработает, потом поест. Нежелание есть – это порок, своего рода наркотик, когда у нее пусто в желудке, она чувствует себя легкой и стремительной, готовой к бою. Она допивает кофе, ставит чашку на стол, потягивается. Это совершенно особый момент: не сама работа, а настройка, приготовление к работе. Возможности безграничны, впереди – целые часы. Сознание улавливает некий бессловесный гул. Этим утром, просеяв грязь и песок, она, может быть, доберется до золота. Она чувствует присутствие в себе чего-то неопределимого, как бы себя внутреннюю или, вернее, себя параллельную, более чистую. Будь она верующей, она бы назвала это душой. Во всяком случае, это не просто интеллект, или сумма чувств, или даже жизненный опыт, хотя и связано со всем этим, пронизывает все, как сверкающие тяжелые струи расплавленного металла. Это та внутренняя сила, которой открыты живительные тайны мироздания, потому что она соприродна им, и в удачные дни Вирджиния работает как бы под диктовку этой силы. Писать в таком состоянии – самое большое счастье, какое ей ведомо, но, увы, это состояние приходит и уходит без предупреждения. Бывает, что она

берет ручку и эта сила буквально ведет ее по странице; а бывает, что она остается сама с собой, обыкновенной женщиной в домашнем халате, перед чистым листом бумаги, испуганная и растерянная, обладающая определенными техническими навыками, но абсолютно не знающая, как и с чего начать.

Она берет ручку.

Миссис Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы.

Миссис Браун

Миссис Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы.

Люси и так с ног сбилась. Надо двери с петель снимать: придут от Рампльмайера. И вдобавок, думала Кларисса Дэллоуэй, утро какое – свежее, будто нарочно приготовлено для детишек на пляже.

Лос-Анджелес. 1949 год.

Лора Браун пытается выпасть из своей жизни. Нет, не совсем так, скорее она пытается вернуться к себе, получив доступ в параллельный мир. Она кладет книгу обложкой вверх себе на грудь. Уже сейчас ее спальня (точнее, их спальня) кажется ей не такой пустой и чуть более реальной, потому что литературная героиня по имени миссис Дэллоуэй отправилась за цветами. Лора бросает взгляд на часы, стоящие на ночном столике. Почти половина восьмого. Как ее угораздило купить эти уродливые часы с квадратным зеленым циферблатом в прямоугольном черном бакелитовом саркофаге? Какая глупость! И как ей не стыдно сейчас читать! Ведь сегодня день рождения Дэна! Вместо того чтобы валяться в постели, ей давно бы следовало принять душ, одеться, приготовить Дэну и Ричи завтрак. Она слышит, как внизу Дэн сам что-то готовит, возится с Ричи. Ей давно нужно было спуститься к ним, не так ли? В новом халате она должна была бы стоять сейчас у плиты, поддерживая веселую, непринужденную

беседу. Но вышло так, что, когда несколько минут назад она разлепила глаза (в восьмом часу!) еще в полусне, в этом подобии мерцающего вдали летательного аппарата, равномерно бухающего, как механическое сердце, все слышнее и слышнее, то почувствовала себя ужасно гадко и неприютно – знакомое зябкое ощущение, не предвещающее ничего хорошего. Нет, сегодняшний день не будет легким. Ей опять придется преодолевать неверие в свои силы и в реальность этого дома, и не случайно поэтому, взглянув на новую книгу, лежащую поверх той, что она дочитала вчера, она потянулась к ней почти инстинктивно, как если бы чтение было первоочередным делом дня, единственным адекватным способом перехода от сна к исполнению долга. Она беременна и поэтому может позволить себе определенные слабости. Например, читать сколько вздумается, валяться в постели, плакать и раздражаться без повода.

Она не приготовила завтрак, зато она испечет роскошный праздничный торт, отутюжит самую красивую скатерть, поставит в центр стола огромный букет цветов (роз?), а вокруг разложит подарки. Она искупит свою вину.

Сейчас она прочтет еще одну страничку. Всего одну – просто чтобы прийти в себя, – и сразу встанет.

Как хорошо! Будто окунаешься! Так бывало всегда, когда под слабенький писк петель, который у нее и сейчас в ушах, она растворяла в Бортоне стеклянные двери террасы и окуналась в воздух. Свежий, тихий, не то что сейчас, конечно, ранний, утренний воздух; как шлепок волны; шепоток волны; чистый, знобящий и (для восемнадцатилетней девчонки) полный сюрпризов; и она ждала у растворенной двери: что-то вот-вот случится; она смотрела на цветы, деревья, дым оплетал их, вокруг петляли грачи; а она стояла, смотрела, пока Питер Уолш не сказал: “Мечтаете среди овощей!” Так, кажется? “Мне люди нравятся больше капусты”. Так, кажется? Он сказал это, вероятно, после завтрака, когда она вышла на террасу. Питер Уолш. На днях он вернется из Индии, в июне, в июне, она забыла, когда именно, у него такие скучные письма; это слова его запоминаются; и глаза; перочинный ножик, улыбка, брюзжанье и, когда столько вещей безвозвратно ушло – до чего же странно! – кое-какие фразы, например про капусту.

Она глубоко вздыхает. Как же это красиво! Насколько же это лучше, чем… да почти все на самом деле. Будь мир другим, она бы только и делала, что читала. Но в нынешнем сумасшедшем мире нет места для лени. Слишком многое было поставлено на карту, слишком большая цена заплачена, слишком много жизней отдано. Всего пять лет назад думали, что Дэн тоже погиб под Анцио, и, когда два дня спустя выяснилось, что погиб не он, а какой-то несчастный мальчик из Аркадии (его полный тезка), возникло чувство, что он воскрес. Казалось, что он, такой же добрый и открытый, как прежде, все так же пахнущий самим собой, вернулся из царства мертвых (все слышали тогда эти жуткие рассказы об Италии, Сайпане и Окинаве, о японках, убивавших собственных детей и кончавших с собой, лишь бы не попасть в плен), и, когда он вернулся наконец в родную Калифорнию, его встречали с еще большим воодушевлением, чем простого героя. Он (по словам его собственной встревоженной матери) мог заполучить тогда любую самую популярную городскую красотку, любую жизнерадостную девушку, но из-за какого-то смутного и, возможно, болезненного душевного выверта начал ухаживать за старшей сестрой своего лучшего друга, поцеловал ее и в конце концов сделал ей предложение. Его избранница была запойной читательницей с несколько чужеземной внешностью, римским носом и темными, близко посаженными глазами. Ее никто никогда не домогался, и о ней никто никогда не заботился; обычно ее просто оставляли одну – читать. Могла ли она ответить “нет”? Могла ли отвергнуть красивого, доброго парня, почти члена семьи, воскресшего из мертвых?

И вот из Лоры Зельски, нелюдимого книжного червя, она превратилась в Лору Браун.

Одну страничку, решает она, всего одну. Она еще не готова; действия, которые ей предстоят (надеть халат, причесаться, выйти на кухню), по-прежнему кажутся слишком призрачными, слишком странными. Она еще минутку полежит в постели. Она просто подарит себе еще немного времени. Она чувствует, как в груди нарастает особое чувство, будто накатившая волна мягко подхватывает ее, выброшенную на мель обитательницу моря, и из мира сокрушающей силы тяжести возвращает в родную стихию, вздымающуюся и опадающую соленую воду, в сверкающую невесомость.

Она застыла на тротуаре, пережидая фургон. Прелестная женщина, подумал про нее Скруп Певис (он ее знал, как знаешь тех, кто живет рядом с тобой

в Вестминстере); чем-то, пожалуй, похожа на птичку, на сойку; сине-зеленая, легонькая, живая, хоть ей уже за пятьдесят и после болезни она почти совсем поседела. Не заметив его, очень прямая, она стояла у перехода, и лицо ее чуть напряглось.

Потому что, когда проживешь в Вестминстере – сколько? уже больше двадцати лет, – даже посреди грохота улицы или проснувшись среди ночи, да, положительно – ловишь это особенное замирание, неописуемую, томящую тишину (но, может быть, все у нее из-за сердца, из-за последствий, говорят, инфлюэнцы) перед самым ударом Биг-Бена. Вот! Гудит. Сперва мелодично – вступление; потом непреложно – час. Свинцовые круги побежали по воздуху. Какие же мы все дураки, думала она, переходя Виктория-стрит. Господи, и за что все это так любишь, так видишь и постоянно сочиняешь, городишь, ломаешь, ежесекундно строишь опять; но и самые невозможные пугала, обиженные судьбой, которые сидят у порога, совершенно отпетые, заняты тем же; и поэтому-то, бесспорно, их не берут никакие постановления парламента: они любят жизнь. Взгляды прохожих, качание, шорох, шелест; грохот, клекот, рев автобусов и машин; шарканье ходячих реклам; духовой оркестр, стон шарманки и поверх всего странно тоненький визг аэроплана – вот что она так любит: жизнь; Лондон; вот эту секунду июня.

Как, недоумевает Лора, мог человек, написавший такое, а главное, почувствовавший такое, решиться на самоубийство? Что же это происходит с людьми? Собравшись с духом, как если бы она готовилась нырнуть в ледяную воду, Лора захлопывает и кладет книгу на ночной столик. Разве она не любит сына или мужа? Конечно любит. Сейчас она встанет и будет веселой.

По крайней мере, думает она, круг ее чтения – не какие-нибудь детективы или любовные романы. По крайней мере, она развивает свой интеллект. Сейчас она читает Вирджинию Вулф, подряд, книгу за книгой, и потрясена этой женщиной, ее блеском, ее своеобразием, ее бездонной печалью и тем, что, несмотря на свой дар, она все-таки положила камень в карман пальто и вошла в реку. Лоре нравится думать (это один из ее самых больших секретов), что и в ней самой тоже есть искра незаурядности, толика величия, хотя она сознает, что подобные сладкие подозрения, как некие маленькие бутоны, живут чуть ли не в каждом человеке, живут и так и умирают, не раскрывшись. Толкая тележку в супермаркете или сидя под феном в парикмахерской, она спрашивает себя, а не думают ли и все другие женщины примерно то же самое: вот великая душа, познавшая скорби и радости, вот женщина, которой полагалось бы находиться

совсем не здесь, добровольно занимается такими обыденными и, в сущности, такими дурацкими вещами: выбирает помидоры, сушит волосы в парикмахерской, ибо в этом ее долг и творчество. Потому что мир устоял, война закончилась, и наша задача – заводить семьи, рожать и растить детей, создавать не просто книги или картины, а новую, гармоничную вселенную, в которой детям должна быть обеспечена безопасность (если не счастье), а мужчинам, пережившим немыслимые ужасы, сражавшимся храбро и умело, – светлые гостиные, запах духов, крахмальные скатерти, салфетки.

Как хорошо! Будто окунаешься!

Лора вылезает из кровати в белое, жаркое июньское утро. Она слышит, как ее муж хлопочет внизу. Алюминиевая крышка целуется с краем кастрюли. Лора берет халат (шениль цвета морской волны), и в комнате возникает коренастый стул – толстенький, только недавно обтянутый плотной бугристой тканью цвета сомон, простеганной шнуром, с оранжево-розовыми пуговицами, образующими ромбовидный узор, и каймой по краю. Один, без халата, поблескивая своей новой яркой обивкой, стул этим солнечным июньским утром, похоже, сам удивлен, что он стул.

Лора чистит зубы, причесывается и спускается вниз. За несколько ступенек до конца лестницы она замирает и прислушивается. Ее вновь охватывает смутное, похожее на сон чувство (причем усиливающееся), что она стоит за кулисами и вот сейчас ей нужно будет выйти на сцену играть в пьесе, которую она почти не репетировала и для которой совершенно неподходяще одета. Да что же это такое, недоумевает она. Ведь на кухне всего-навсего ее муж и маленький сын. Единственное, чего они от нее хотят, – это чтобы она была рядом, ну и, конечно, любила их. Она подавляет желание потихоньку шмыгнуть назад в постель, к книге. Подавляет раздражение, которое вызывает у нее голос мужа, что-то объясняющего Ричи (когда натираешь картофель на терке, бывает похожий звук). Она преодолевает три последние ступеньки, пересекает узкий холл и входит в кухню.

Она думает о торте, который испечет, о цветах, которые купит. Воображает букет роз и разложенные вокруг подарки.

Муж сварил кофе, насыпал себе и сыну кукурузные хлопья. На столе красуется дюжина изысканных, немного зловещих белых роз. Сквозь прозрачные стенки стеклянной вазы видно, что стебли облеплены маленькими пузырьками воздуха, похожими на аккуратные круглые песчинки. Рядом с вазой – коробка кукурузных хлопьев и пакет молока с соответствующими надписями и картинками.

– Доброе утро, – говорит Дэн, поднимая брови, словно появление Лоры для него нечаянная радость.

– С днем рождения, – говорит она.

– Спасибо.

– Дэн! Какие потрясающие розы! Но ведь сегодня твой день рождения! Это уж слишком!

Она видит, что он чувствует ее раздражение. Она улыбается.

– Без тебя бы этот день мало что значил, – говорит он.

– Ты должен был меня разбудить. Серьезно.

Он переводит взгляд на Ричи и поднимает брови еще на сантиметр, отчего его лоб сморщивается, а блестящие черные волосы слегка подрагивают.

– Мы решили, что правильнее дать тебе поспать, – говорит он.

– Да, – говорит трехлетний Ричи и поспешно кивает.

На нем голубая пижама. Он не просто счастлив, что она появилась, он больше чем счастлив. Он буквально задыхается от любви. Лора лезет в карман за сигаретами, но передумывает и вскидывает руку к волосам. В этом есть что-то чудесное, почти совершенное: стоять вот так, поправляя темные густые волосы, в желтой кухне; быть молодой матерью, беременной вторым ребенком. На занавесках подрагивают узорные тени листьев, пахнет свежесваренным кофе.

– Привет, клоп, – говорит она Ричи.

– Я ем кукурузные хлопья, – сообщает он, улыбаясь уголком рта. Можно сказать, что он смотрит на нее с жадностью, почти изнемогая от нежности. Он одновременно и смешон, и трагичен в своей безнадежной любви – ей иногда приходит на ум образ мышонка, распевающего любовные серенады под окном великанши.

– Молодец, – говорит она. – Очень хорошо.

Он снова кивает, как будто теперь их связывает общая тайна.

– Нет, правда… – говорит она мужу.

– Ну зачем мне было тебя будить? – отвечает он. – Зачем тебе вскакивать ни свет ни заря?

– Потому что сегодня твой день рождения.

– Тебе нужно больше отдыхать.

Он осторожно, но довольно чувствительно хлопает ее по животу, как по скорлупе яйца всмятку. Еще ничего не заметно; единственные признаки беременности – периодические приступы тошноты и едва ощутимое, но ясное чувство, что внутри у тебя кто-то живой. В их доме до них никто никогда не жил. За стенами дома – мир, в котором магазинные полки ломятся от товаров, из радиоприемников льется бодрая музыка, по улицам снова снуют толпы молодых мужчин, изведавших лишения и ужасы страшнее смерти, добровольно пожертвовавших своими двадцатью с чем-то и теперь, когда им уже под тридцать, а то и за тридцать, не желающих терять ни минуты. Благодаря армейской закалке они в отличной форме. Стройны и мускулисты. Встают с рассветом без нытья.

– Я сама хотела приготовить тебе завтрак, – говорит Лора. – Я нормально себя чувствую.

– Я тоже умею готовить завтраки. Мне все равно вставать, но тебе-то зачем подниматься в такую рань?

– Ну, мне было бы приятно.

Гудит холодильник. Пчела упорно бьется в оконное стекло. Лора вынимает из кармана пачку “Пэлл-Мэлл”. Она на три года старше мужа (в этом есть что-то неловкое, слегка постыдное); ширококостная угловатая женщина, немного похожая на иммигрантку, хотя ее семья вот уже больше века безуспешно пытается процвести на этой земле. Она выуживает сигарету, снова передумывает, загоняет ее назад.

– Ладно, – говорит он. – Если хочешь, завтра разбужу тебя в шесть.

– Хорошо.

Она наливает себе приготовленный им кофе. С дымящейся чашкой в руке подходит к нему, целует в щеку. Он рассеянно-нежно хлопает ее по крестцу. В мыслях он уже далеко. Он думает о работе, о поездке в город сквозь зачарованную золотистую тишину бульвара Уилшир. Магазины закрыты, и только ранние пташки вроде него проносятся в солнечном свете, еще не замутненном дневным смогом. В конторе тихо, пишущие машинки зачехлены, и у него с коллегами, его ровесниками, будет еще час, а то и больше на всякие бумажные дела до того, как начнут трезвонить телефоны. Иногда ему даже не верится, что у него и вправду все это есть: контора, новый дом с двумя спальнями, обязанности, полномочия, стремительные, подсоленные остротами ланчи с коллегами и деловыми партнерами.

– Розы фантастические, – говорит Лора. – Где ты их достал в такую рань?

– Миссис Гар уже с шести в своем магазине. Я просто барабанил в стекло, пока она не открыла. – Он смотрит на часы, хотя и так знает, который час. – Ого, мне пора.

– Счастливо.

– Пока.

– С днем рождения.

– Спасибо.

Он встает, и некоторое время все они участвуют в ритуале провожания его на работу: он надевает пиджак, берет портфель, они целуются, затем машут друг другу – он через плечо, шагая по газону к машине, они из-за стеклянной двери. Их щедро поливаемый газон расточительно ярок, божественно зелен. Лора и Ричи, словно зеваки на параде, наблюдают за тем, как Дэн выезжает на улицу в своем льдисто-голубом “шевроле”. Он снова – в последний раз – весело машет им уже из машины.

– Ну что ж, – говорит она, когда автомобиль скрывается из виду. Сын смотрит на нее с нескрываемым обожанием и ждет. Она – одушевляющее начало, душа дома, чьи комнаты кажутся иногда просторней обычного и где порой обнаруживаешь вещи, которых никогда не видел. Он смотрит на нее.

– Ну вот, – говорит она.

Стало быть, начинается новый день. Когда муж дома, ей менее спокойно, но зато не так страшно. Ей понятно, что и как делать. Когда они с Ричи одни, ясность уходит – ее мальчик настолько ни на кого не похож: он – именно он, а не кто-то другой. В его желаниях так много страсти! Он способен заплакать ни с того ни с сего, или выдвинуть какое-нибудь невыполнимое требование, или начать ухаживать за ней, или о чем-то ее умолять, или игнорировать. Впечатление такое, что он только и ждет ее следующего шага. Она знает, ну, или по крайней мере предполагает, что другие матери руководствуются определенной системой правил, неким родительским кодексом, предписывающим, как именно нужно поступать с ребенком в той или иной ситуации. И когда муж дома, она справляется. Когда она чувствует на себе его взгляд, инстинктивная точность поведения, некое правильное соотношение твердости и нежности дается ей без усилий, как бы само собой. Но когда она с Ричи одна, ориентиры теряются. Ей не всегда удается припомнить, как именно полагается поступать матери в данном конкретном случае.

– Тебе нужно доесть завтрак, – говорит она.

– Хорошо, – отвечает Ричи.

Они возвращаются на кухню. Муж вымыл, вытер и убрал свою кофейную чашку. Мальчик снова принимается за кукурузные хлопья с упорством маленького трактора. При этом видно, что есть ему не особенно хочется и что делает он это в основном из послушания. Лора наливает себе свежий кофе, садится за стол, зажигает сигарету.

…Духовой оркестр, стон шарманки и поверх всего странно тоненький визг аэроплана – вот что она так любит: жизнь; Лондон; вот эту секунду июня.

Она выпускает густую струю седого дыма. Она читала до двух ночи и поэтому чувствует себя разбитой.

Она дотрагивается до живота – а вдруг то, что она так мало спит, повредит ее будущему ребенку? Она не задает этого вопроса врачу, опасаясь, что он вообще запретит ей читать. Она мысленно дает себе слово читать поменьше. Сегодня она погасит свет не позже двенадцати.

– Знаешь, – обращается она к Ричи, – чем мы сейчас займемся? Мы будем делать торт в честь папиного дня рождения. Так что сегодня нам с тобой предстоит серьезная работа.

Он важно кивает. С явным недоверием.

– Мы сделаем ему потрясающий торт. Такой торт, какого он еще никогда в жизни не ел. Лучший торт в мире. Неплохо придумано, как тебе кажется?

Ричи снова кивает. Он ждет, что будет дальше.

Лора смотрит на него сквозь лианообразные извивы сигаретного дыма. Она не вернется в спальню, не уткнется в книгу. Она останется здесь и сделает все, что должна сделать, и даже больше.

Миссис Дэллоуэй

Кларисса выносит огромный букет цветов на Спринг-стрит. Она представляет себе Барбару в прохладной дымчатой полумгле по ту сторону двери, в пространстве, о котором Кларисса не может не думать сейчас как о “пространстве прошлого” (это как-то связано с невезением Барбары и с пучками лент на задней стене), тогда как сама она входит в “настоящее”, где есть вот этот китайский мальчик, вильнувший мимо нее на велосипеде; номер 281, выведенный золотом на затемненном стекле; стайка голубей с лапками цвета карандашных ластиков (когда она училась в четвертом классе, в их кабинет влетел голубь, бешеный, вселяющий ужас); Спринг-стрит; она сама с букетом цветов. Она зайдет проведать Ричарда (звонить бесполезно, он никогда не берет трубку), ну а сейчас она подходит и смущенно останавливается не слишком близко, но и не слишком далеко от трейлера, из которого выглядывала знаменитость. Там уже собралась небольшая толпа, состоящая преимущественно из туристов. Кларисса оказывается рядом с двумя девушками. У одной волосы выкрашены в канареечно-лимонный, у другой – под платину. Неужели, думает Кларисса, это попытка изобразить солнце и луну?

Она слышит, как Солнце говорит Луне:

– Это была Мерил Стрип, точно, Мерил Стрип.

Кларисса радуется. Значит, она не ошиблась. Невероятно приятно на самом деле обнаружить, что ты не одинока в своих догадках.

– Ни фига, – отзывается Луна. – Сьюзен Сарандон.

Неправда, думает Кларисса. Тогда уж Ванесса Редгрейв, но только не Сьюзен Сарандон.

– Нет, – настаивает Солнце, – это была Стрип. Я тебе точно говорю.

– А я тебе говорю – нет.

– Да ты что, совсем, что ли? Стрип.

Кларисса с цветами в руках, испытывая смешанное чувство вины и неловкости за свое любопытство, продолжает ждать в робкой надежде, что звезда покажется снова. Не то чтобы Кларисса благоговела перед знаменитостями, во всяком случае не больше других, но в данный момент она почти против воли переживает нечто совсем особенное: соприкосновение с аурой славы – и даже не просто славы, а фактического бессмертия, ибо именно им веет сейчас на пересечении Макдугал и Спринг-стрит. Эти две юные девушки, стоящие возле нее, эти двадцатилетние (если не моложе), пышущие здоровьем, расслабленно падающие друг на друга девушки с яркими дешевыми рюкзачками постепенно превратятся в двух теток, потом в высохших или, наоборот, раздобревших старушек; кладбища, где их похоронят, обратятся в руины, зарастут бурьяном, в котором по ночам будут рыскать бездомные собаки; и даже тогда, когда от этих девушек не останется ничего, кроме нескольких серебряных пломб глубоко под землей, женщина из трейлера, будь то Мерил Стрип, Ванесса Редгрейв или даже Сьюзен Сарандон, не потеряет известности. Она будет существовать в архивах и книгах, пленки с ее голосом будут бережно храниться вместе с другими драгоценными реликвиями. Кларисса позволяет себе подождать еще чуть-чуть, как настоящая дуреха-поклонница, пока унижение не становится невыносимым. Она стоит перед трейлером с цветами в руках. Она смотрит на дверь. Спустя несколько минут (почти десять на самом деле, хотя в этом и стыдно признаться) она возмущенно срывается с места, словно ее кто-то насильно удерживал все это время, и идет к дому Ричарда.

Когда-то этот район был центром чего-то нового и пугающего, он пользовался дурной репутацией; из здешних кафе и баров всю ночь неслось бренчание гитар, а в книжных лавках и магазинах одежды пахло так, как, по представлению Клариссы, должно пахнуть на арабских базарах: смесью благовоний и навоза, каким-то деревом (кедр? камфара?), чем-то гнилостно-фруктовым; здесь можно было легко, даже чересчур легко представить себе, что, перепутав дверь или свернув не в тот переулок, ты окажешься лицом к лицу с судьбой – не с тривиальной угрозой грабежа или физического насилия, а с чем-то гораздо более изощренным и трансформирующим, чем-то гораздо более радикальным. Здесь, прямо здесь, вот на этом углу они с девятнадцатилетним Ричардом – не слишком красивым темноволосым парнем с резкими чертами лица, жестким взглядом и фантастически длинной и грациозной белой шеей – стояли и ссорились… Из-за чего? Из-за поцелуя? Поцеловал ли ее Ричард, или ей только показалось, что он собирается ее поцеловать, и она уклонилась? Здесь, на этом углу, где раньше был магазин головных уборов, а теперь продуктовая лавка, они поцеловались или не поцеловались, наверняка поругались и здесь или где-то еще вскоре после этого решили прекратить свой недолгий эксперимент, потому

что Кларисса хотела свободы, а Ричард… Ричард, как всегда, хотел слишком многого. Да, слишком многого. Она сказала: к тому, что произошло между ними летом, следует отнестись именно и только как к тому, что иногда происходит летом. Зачем она ему, нелепая и не уверенная в себе девчонка с, мягко говоря, невпечатляющей грудью (можно ли было всерьез рассчитывать, что она поверит в его чувство), тем более что и он и она прекрасно знали о его более сокровенных влечениях и о том, что у него был Луи, обожающий его Луи, отнюдь не глупый, с красивыми сильными руками, достойный позировать самому Микеланджело. Уж не выдумал ли Ричард и ее, и всю эту ситуацию, не была ли это просто его очередная поэтическая фантазия? Нет, никакой серьезной ссоры тогда не случилось, обычная перепалка на углу улицы – причем уже тогда было ясно, что их дружба не пострадает, – и тем не менее, оглядываясь назад, она точно знает, что именно в этот момент оборвалось одно возможное будущее и началось другое. В тот же день до или после ссоры Кларисса купила себе пакет с благовониями и поношенную серую куртку из альпака с костяными пуговицами в виде розочек. Ричард в конце концов уехал в Европу с Луи. Интересно, думает Кларисса, а куда подевалась куртка из альпака? Она помнит, что носила ее много лет, а потом та куда-то делась.

Она сворачивает на Бликер-стрит, потом на Томсон. Этот район сегодня пытается имитировать сам себя и всегда запружен туристами, но Клариссе в ее пятьдесят два прекрасно известно, что происходит за этими дверями и в этих переулках: люди живут свою жизнь, не более того. Есть даже что-то непристойное в том, что все еще функционируют несколько старых баров и кафе, мучительно старающихся подделаться под себя прежних в угоду немцам и японцам. Все магазины предлагают примерно одно и то же: сувенирные футболки, дешевые серебряные украшения, дешевые кожаные куртки.

Подъезд дома, где живет Ричард, как всегда, ассоциируется у Клариссы со словом “убогий”. Даже смешно, насколько идеально это место иллюстрирует понятие убогости. Его жалкость настолько пугающе очевидна, что и по прошествии многих лет продолжает слегка удивлять, как удивляет редкое и значительное произведение искусства просто в силу своей неизменности, своей абсолютной самотождественности на фоне быстротекущего времени. Вот и здесь все те же бежевые стены, напоминающие по цвету печенье из аррорута; та же флюоресцентная панель, разбрызгивающая свой водянистый свет. Тот факт, что этот маленький и тесный холл дешево и не слишком старательно отремонтировали лет десять назад, лишь усугубил положение – стало намного хуже. Белый с навсегда въевшейся грязью линолеум под кирпич и искусственный фикус в углу сделали этот холл еще более жалким, чем он,

возможно, стал бы в результате естественного обветшания. И только старая мраморная плита паломино в голубовато-серых прожилках с глубоким прокопченно-желтым налетом цвета хорошего сыра, оказавшаяся теперь в мерзком окружении светло-бежевых стен, напоминает о том, что это здание знало лучшие времена и даже вселяло в посетителей определенные надежды; попав сюда, можно было вправду поверить, что ты приближаешься к будущему, которое того стоит.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Таунхаус – городской особняк, часто с прилегающим садом. (Здесь и далее – прим. перев.)

2

Фрисби – спортивная “летающая тарелка”, обладающая свойствами бумеранга.

3

“Восемь миль в высоту” (англ.).

4

“Навеки твой” (англ.).

5

PWAs (Persons with AIDS) – носители ВИЧ (англ.).

6

Бидермейер – стилевое направление в искусстве.

7

Здесь и в дальнейшем цитаты из романа Вирджинии Вулф “Миссис Дэллоуэй” приводятся в переводе Е. Суриц по изданию: Вирджиния Вулф. Избранное. М., 1996.

Купить: https://tellnovel.com/ru/maykl-kanningem/chasy

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить